Думая о Пушкине

Иван Алексеевич Бунин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Еще в пору отрочества Иван Бунин хотел стать «вторым Пушкиным и Лермонтовым».

В эмиграции, вдали от России, писатель острее ощутил, что Пушкин для него – это часть России, живая и от неё неотделимая. «Думая о Пушкине» – можно сказать, программный манифест Бунина, всегда мечтавшего написать книгу о любимом поэте.

- Иван Алексеевич Бунин

Иван Алексеевич Бунин
Думая о Пушкине

«Просьба ответить: 1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?» <…>

Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы,— можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему… <…>

И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом…

Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я,— в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, - и стали складываться стихи «Молодой король»:

То не красный голубь метнулся <…>

Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что- нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских

каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:

Дикий лавр, и плющ, и розы <...>

А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чем тут Пушкин? Однако я живо помню, что в какой-то именно связи с ним, с Пушкиным, написал я:

Монастыри в предгориях глухих <...] >

А вот Помпея, и опять почему-то со мной он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:

Помпея! Сколько раз я проходил <...>

А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги <...>

А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, и страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:

Вот этот дом, сто лет тому назад <...>

«Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас,— отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...», «Не ной, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...» В необыкновенном обожании Пушкина пройма вся ее молодость,— ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую,— то есть воображаемую молодую,— с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?

— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?

— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» — читала она, и опять это чаровало меня *вдвойне:* ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...

А потом — первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили — «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...» Вот я собираюсь на охоту — «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?».

Вот зимний вечер, вьюга — и разве «буря мглою небо кроет» звучит дли меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви златая взошла на небеса...» Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?» Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча»,— а не электрическая лампочка,— и опять *его* словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!» А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц,— и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек...

А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла»,— говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час «к брегам, потопленным шумящими волнами» — и как я могу определить теперь: бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печатному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя, в бурной мгле, играло море с берегами» — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и *мой* конь бежал «в горох,дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утреннийчас, когда «все чувство путника манит» —

И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага…